

Константин Леонтьев

**Рассказ моей матери  
об Императрице Марии  
Феодоровне**



Константин Николаевич Леонтьев

# Рассказ моей матери об Императрице Марии Феодоровне

«Это было уже давно... Я просил покойную мать мою записать для меня свои воспоминания о жизни в Екатерининском институте и о позднейших сношениях своих с Императрицей Марией Феодоровной, которая до самой кончины своей не забывала ее как одну из лучших своих воспитанниц.

Многое в рассказах матери казалось мне интересным, ибо уже и тогда, в 50-х годах, когда я стал совсем «большим», даже студентом, в жизни нашей были уже такие оттенки или, говоря по-нынешнему, «веяния», которые с иных сторон делали эту жизнь 50-х годов более похожую на нынешнюю, чем на жизнь первой четверти нашего века...»

**Константин Николаевич  
Леонтьев  
Рассказ моей матери об  
Императрице Марии  
Феодоровне**

Это было уже давно... Я просил покойную мать мою записать для меня свои воспоминания о жизни в Екатерининском институте и о позднейших сношениях своих с Императрицей Марией Феодоровной, которая до самой кончины своей не забывала ее как одну из лучших своих воспитанниц.

Многое в рассказах матери казалось мне интересным, ибо уже и тогда, в 50-х годах, когда я стал совсем «большим», даже студентом, в жизни нашей были уже такие оттенки или, говоря по-нынешнему, «веяния», которые с иных сторон делали эту жизнь 50-х годов более похожею на нынешнюю, чем на жизнь первой четверти нашего века. Строй был в 50-х годах тот же, что и в 12-м году или в 20-м; идеалы значительно изменились; вслед за Европой мы уже пережили и 30-й год, и 48-й. Под незаметным почти сразу влиянием этих идеалов строй векового созидания пошатнулся впервые в 61-м году.

И я – тогда (т. е. в 50-х годах) 20-летний студент медицины, читавший в часы досуга Белинского, Герцена, Жорж Занда, – уже чувствовал себя в силах относиться почти исто-

рически, полусочувственно, полуснисходительно, полунадменно не только к тем, мне казалось, уже далеким преданиям времен, когда мать моя отроковицей ходила по коридорам закрытого училища на берегу Фонтанки, но даже к многознаменательному пятилетию, от 26-го года до 31-го, от кончины Императора Александра I в Таганроге до Адрианопольского мира и до первого усмирения Польши.

Мать моя исполнила мою просьбу давно, еще при жизни своей, и часть ее записок была напечатана в «Русском вестнике» («Праздник в селе Покровском; 1811–1812 гг.» и т. д.). Было у нее написано и еще много любопытного, но все это, к сожалению, пропало вместе с отрезанным чемоданом между Калугой и Москвою в конце 60-х годов. У меня изо всего этого сохранилось очень мало и, между прочим, рассказы о том, как двое старших братьев моих были приняты без всяких на то прямых прав в Пажеский корпус, по особой милости и по особому вниманию Императрицы Марии Феодоровны. Отец наш не только не имел генеральского ранга, но даже за уча-

стие в каком-то буйстве был удален из гвардии в начале этого века и вышел в отставку в чине прапорщика.

Жена отставного прапорщика, вдобавок удаленного из гвардии за буйство, – владелица небольшого имения в Калужской губернии, – какие права имела моя мать на помещение двух первых сыновей своих в Пажеский корпус? – Конечно, никаких.

Но она еще девочкой, еще институткой, обратила на себя внимание Императрицы-Матери, и Государыня *через пятнадцать лет* после ее выхода из училища не забыла ее и исполнила ее желание в год восшествия на престол Николая Павловича.

В нашем милом Кудинове, в нашем просторном и веселом доме, которого теперь нет и следов, была комната окнами на запад, в тихий, густой и обширный сад. Везде у нас было щеголевато и чисто, но эта комната казалась мне лучше всех; в ней было нечто таинственное и мало доступное и для прислуги, и для посторонних, и даже для своей семьи. Это был кабинет моей матери... Проходить в него нужно было длинным коридором, через

уборную ее и спальню, и вся эта половина дома очень часто была заперта на ключ. Мать любила уединение, тишину, чтение и строгий порядок в распределении времени и занятий. Когда я был ребенком, когда еще «мне были новы все впечатления бытия...», я находил этот кабинет прелестным.

И в самом деле, он был очень оригинален и мил. В то время еще не привыкли у нас обивать мебель пестрыми ситцами, и даже хорошего полосатого тика ярких цветов я в то время не помню, хотя с раннего детства я не раз ездил с матерью в столицы и очень многое внимательно замечал; но у матери моей было сильное воображение и очень тонкий вкус; ей хотелось устроить себе эту комнату в виде цветной палатки, и она велела сшить широкими полосками какую-то бумажную материю: темно-зеленую, ярко-розовую и белую, и декорировала ею стены и потолок; потолок был собран посредине сборками в большую розетку, в середине которой была вставлена такая круглая бронзовая фигурка, какие употребляются для закидывания занавесок около окон. Пол зимой был обит большим ковром,

белым с бархатными темно-зелеными узорами, и это было очень кстати и очень хорошо. Мать сумела извлечь пользу из какого-то темного чулана; над этим чуланом была лестница на антресоли: мать его уничтожила, отодвинув стену дальше в коридор; поставила там деревянные колонки, обила их полотном; велела выкрасить полотно белой масляной краской и обвила их и оклеила спирально по верх полотна таким цветным бордюром, каким оклеивают наверху обои, так что вместо темного чулана для дров в коридоре образовалась за колонками в кабинет какая-то ниша, чрезвычайно уютная и красивая. Она была не широка и вся занята вплоть до колонн одним турецким диваном; и стены этой ниши, и занавес, который можно было задергивать, и самый диван, и турецкие подушки его во всю стену – все было из той же материи, как и отделка стен, и все тех же трех цветов: темно-зеленого, розового и белого.

Все это было очень дешево (потому что моя мать была скорее бедна, чем богата); но все весело, опрятно и душисто. Летом были почти всюду цветы в вазах, сирень, розы, лан-

дыши, дикий жасмин; зимой – всегда слегка пахло хорошими духами. Был у нее, я помню, особый графинчик, граненый и красивый, наполненный духами, с какою-то машинкой, которой устройство я не понимал тогда, не объясню и теперь... Была какая-то проволока витая и был фитилек, и что-то зажигалось; проволока накаливалась докрасна, и комнаты наполнялись благоуханием легким и тонким, постоянно, ровно и надолго.

Мебели в этой комнате было немного: она сама была невелика. У окна ясеневый просторный письменный стол с полками для книг; перед ним старинное кресло с полукруглой спинкой, украшенной двумя точеными бараньими головками; около стола с другой стороны тоже ясеневое большое глубокое *вольтеровское* кресло, и в другом углу у окна еще кресло и складной столик; но комната во все не казалась пустой благодаря трехцветной драпировке и дивану за колонками в таинственной нише.

Картин по стенам не было, большие фамильные портреты висели в гостиной; у матери в кабинете были только портреты семе-

рых детей ее и трех посторонних лиц, которых она считала лучшими своими друзьями или даже благодетелями...

Детские портреты висели в ряд за колоннами в нише и были почти все разные, сняты в разное время и разными способами. Самый старший брат Петр, впоследствии гвардейский офицер (о котором будет речь и в самих записках матери), красивый, румяный мальчик лет шестнадцати, был снят в камер-пажеском мундире, цветными карандашами и очень хорошо. Портрет старшей сестры Анны, девушки лет двадцати, красоты несколько серьезной, правильной, но не особенно приятной, с высоким фигурным гребнем в большой и высоко поднятой косе, – этот портрет был почему-то гравированный на камне вместе с двумя другими портретами младших детей – сына и дочери: премилые русские личики – неправильные и симпатичные; мальчик – в острой турецкой курточке без рукавов и девочка с большой косой венцом вокруг головы; с одного из средних братьев был снят очень похожий, черный, конечно, силуэт; а с другого ребенка, бледного и задумчивого, сри-

совал довольно удачно акварель крепостной иконописец деда Петра Матвеевича Караба-нова...

Я был самый младший, гораздо моложе других; и меня, вскоре после рождения моего, изобразил масляными красками тот же крепостной художник в идеальном виде бестелесного херувима с крыльями. Когда я вырос и во мне уже ничего невинного и ангельского не осталось, – мать отдала этот фантастический портрет кому-то из наиболее приверженных слугителей наших, и лет двадцать спустя я, по возвращении моем из заграницы, нашел его у старой кухарки нашей в кухне, кухарка никак не могла удержать деревенских женщин, чтобы они, входя в кухню, на этого херувима не молились.

Все эти детские портреты, говорю, висели в ряд на стене за колоннами ниши, и все были украшены наверху розетками таких же трех цветов, как и диван, и занавески, и стены; на всех семи розетках цвета были нарочно расположены в разном порядке: на первом направо белый внизу, потом розовый и пуговка зеленая, на втором белый внизу, потом зе-

ленный и пуговка розовая и т. д. Когда я был мал, я спал за этими колоннами на диване, и это симметрическое разнообразие розеток, которые я, проснувшись поутру, изучал, доставляло мне множество наслаждений.

Я прошу мне простить все эти, быть может, и лишние подробности; но мне так приятно обо всем этом писать! И кроме того, воспоминания об этом очаровательном материнском «Эрмитаже» до того связаны в сердце моем и с самыми первыми религиозными впечатлениями детства, и с ранним сознанием красот окружающей природы, и с драгоценным образом красивой, всегда щеголеватой и благородной матери, которой я так неоплатно был обязан всем (уроками патриотизма и монархического чувства, примерами строгого порядка, постоянного труда и утонченного вкуса в ежедневной жизни), что я не могу сдержатъ себя, и мне все кажется, будто и простой рассказ матери станет гораздо живее, если я скажу больше о ней самой и даже о тех предметах, которыми она была окружена не случайно, но вполне осмысленно, по собственному выбору и творчеству!

В этой комнате и в соседней с нею меня учили молиться перед угульным киотом. Я спал несколько лет подряд в кабинете матери за колоннами, на трехцветном диване; и как часто, просыпаясь зимним утром, продолжал лениться и, лежа на нем, слушал внимательно, как сестра моя (только что взятая тогда из того же самого института, в котором воспиталась мать), читала по книжке утренние молитвы и псалом: «Помилуй мя, Боже...».

Сестра читала, мать молилась; за стеною, в спальне пылал с «веселым треском» утренний камин... В окна с моего дивана я, не вставая, видел чистый снег куртины – безмолвную, мирную, недвижимую зимнюю красу. Я видел прививки, обернутые соломой, обнаженные яблони и большие липы двух прямых аллей. Яблони эти «кудиновские», почти все на этой куртине перед домом, как люди знакомые и памятные мне даже по особенностям вида своего, давно померзли и погибли; мать и сестра давно в могилах, а прекрасные липы, может быть, завтра срубят на «луб» юхновский крестьянин Иван Климов, которому, подобно многим помещикам, вынужден

был после долгой борьбы продать всю эту мою родовую святыню!

Много лет прошло с тех зимних дней, когда я просыпался на полосатом диване; много было и вовсе новых радостей и неожиданного горя; но эти утренние молитвы все также живы в памяти и сердце; много глубоких перемен совершалось в моей жизни, были тяжкие переломы в образе мыслей моих, но никогда и нигде я не забывал тех слов псалма, которые меня тогда (почему – не знаю сам) особенно поразили и невыразимо тронули...

«Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно, Бог не уничижит». Я с тех пор никогда не могу вспомнить о матери и родине, не вспомнивши и этих слов псалма; до сих пор не могу их слышать, не вспоминая о матери, о молодой сестре, о милом Кудинове нашем, о прекрасном обширном саде и о виде из окон этой комнаты. Этот вид не только летом, когда перед окнами цвело в круглых клумбах столько роз, но и зимою был исполнен невыразимой, только близким людям вполне понятной поэзии!..

В этой же самой комнате, выросши, я слы-

шал от матери столько рассказов о старине: о Людовике XIV и его столь несхожих между собою возлюбленных; о кровавых деяниях ненавистного Конвента; о борьбе нашей с Францией, об ужасах и подвигах 12-го года. О Николае Павловиче, которого мать боготворила; и отрывки из этого самого рассказа об Императрице Марии Феодоровне я слышал не раз на словах, прежде чем видеть его написанным...

Я сказал уже, что, кроме детских портретов, мать допустила в свой уединенный кабинет только четыре изображения и лишь таких именно лиц, которых она почему-либо имела основание считать или самыми близкими друзьями, или даже благодетелями своими. Все эти портреты и теперь у меня и целы. Один – литографический – изображает молодого генерала, в латах, орденах и густых эполетах; лицо чрезвычайно энергическое и приятное; усы и борода, сбритые как у всех военных первой четверти этого века, и орлиный нос напоминают что-то римское – это портрет Ивана Сергеевича Леонтьева, двоюродного брата моему отцу. Он скончался

очень рано и оставил вдову и только одного сына, теперь тоже уже умершего. Он был очень дружен с моими родителями и, как человек богатый, делал им, кажется, много добра. Помимо родственной дружбы, Иван Сергеевич был, по-видимому, большой почитатель ума и красоты моей матери, и в Кудинове сохранялось о нем, об его доброте, любезности и веселой энергии много милых преданий. У меня на этажерке и теперь стоит старая и уже починенная местами, широкая белая мраморная ваза. На ней начертаны французские слова:

«Elle ne s'etteindra qu'avec la vie»[1].

В эту вазу, подаренную Иваном Сергеевичем, при матери опускался особого фасона плоский подсвечник с длинными ручками и короткой восковой или стеариновой свечой.

Тогда этот возглас о неугасимом пламени изящной дружбы становился виднее на прозрачном мраморе вазы, и вся комната озарялась восхитительным, романтическим полусветом. Я так любил, когда зажигали эту невидимую свечу, и так уважал мать за ее поэтические вкусы!.. В сохранившемся у меня

также красном сафьянном ее альбоме с бронзовой застежкой есть двустилишие дедушки моего Михаила Ивановича Леонтьева, написанное именно по поводу этой вазы... Вот оно с орфографией подлинника:

«Искусство здесь молчит, но дружба говорит, Сей пламень мной возжен и вечно не сторит».

Два другие портрета – превосходные акварели, и одна – оригинал известного в начале нашего века портретиста *Соколова*, другая – копия с работы Гау, сделанная в 40-х годах в Петербурге второстепенным мастером, неким Осокиным; но копия до того изящная и верная, что ее невозможно было различить с подлинником Гау, когда их клали рядом и прикрывали подписанные внизу имена художников.

Акварель Соколова представляет мужчину лет 30, быть может, с небольшим... Он в модном светло-коричневом сюртуке тридцатых годов, в золотых очках. Лицо чрезвычайно тонкое, красивое, нежное, слегка румяное; русые волосы вьются на лбу и висках, как у всех щеголей того времени, когда Байрон умирал

В Миссалонгах и слава Пушкина зрела в России. Этот русский «джентльмен», этот «барин» дипломатического вида, перенесенный так удачно и живо на бумагу тонкой кистью Соколова, был тоже ближайший и верный друг нашей семьи, сосед по мещовскому имению и очень богатый человек, Василий Дмитриевич Дурново.

На копии с Гау (другой совсем кисти, не менее прекрасной, но словно более старательной, более *пунктирной*, если позволительно так выразиться) *пожилая* дама в белом батистовом платье и белом чепце с *розовыми лентами*. Да! пожилая дама с розовыми лентами! Но эта дама была и в старости своей так мила и красива, что не только на портрете, но и на самом деле эти розовые ленты к ней шли. Я ее очень хорошо помню.

Это была Анна Михайловна Хитрово[2] (или, как в прежнее время обыкновенно говорили, Хитрова), урожденная Голенищева-Кутузова, одна из дочерей знаменитого нашего фельдмаршала. Мать моя знала коротко ее еще в детстве и была ей обязана своим определением в Екатерининский институт, как

она в записке этой и рассказывает.

Все эти портреты друзей висели в ряд, а над ними, как бы на особом и почетном месте, был прибит небольшой литографический портрет Императрицы Марии Феодоровны, о которой мать моя не могла говорить без самого глубокого и самого искреннего чувства благоговеющей любви. Императрица изображена, если не ошибаюсь, в трауре после кончины Государя Александра Павловича: в черном платье с широким воротником и в черном газовом *токе*. Слушая рассказы матери о государыне, я часто и в детстве смотрел внимательно на маленькую литографию эту, и мне тогда еще наружность покойной царицы очень нравилась; в несколько круглом и полном лице было столько и выразительного, и спокойного: доброта, достоинство и твердость. В линии губ столько сдержанности и чего-то тонкого и властного.

Я не стану выдумывать и уверять, что я часто размышлял о царской фамилии и любил ее членов вполне сознательно и в те ранние годы мои, когда еще трехцветная драпировка материнского кабинета не обветшала и не

была заменена голубыми обоями; нет, конечно, этого не было; но я могу сказать, что монархическим духом веяло в то время в кудиновском доме, и чрезвычайно сильная моя любовь к моей в высшей степени изящной и благородной, хотя вовсе не ласковой и не нежной, а, напротив того, суровой и сердитой матери, делала для меня священными тех людей и те предметы, которые любила и чтит она.

Позднее, юношей, в 50-х годах и я заплатил дань европейскому либерализму; но могу с гордостью сказать, что и в эту бестолковую пору моей жизни я ни разу ни кощунственной насмешкой, ни слишком настойчивыми и резкими доводами плохой либеральной философии не оскорбил тех личных чувств и тех идеалов, которые мать моя носила в сердце своем неизменно до гроба.

Я даже помню один спор. Мать, к несчастью, была слишком вспыльчива и неумеренна в иных выражениях, когда ее что-нибудь тревожило. Однажды (мне было уже за 20 лет) она сильно оскорбила меня. Я был влюблен; матери моей эта девушка не нравилась пото-

му, что она была старше меня и, по ее мнению, лукава и нехороша собой... Не ограничиваясь одними резонными родительскими предостережениями и советами, она начала издеваться и над наружностью, и над душевными качествами этой девушки, очень искренно и долго мною любимой.

Раздраженный этими действительно неуместными выходками слишком горячей и властолюбивой матери, я остановил ее и сказал так:

– Послушайте, зачем вы так неосторожно оскорбляете то, что для меня так дорого?.. Вспомните, оскорбил ли я когда-нибудь хоть намеком или шуткой то, что для вас священо, то, что составляет поэзию ваших воспоминаний, вашей молодости?.. Напротив, я люблю эти воспоминания ваши... Я помню почти наизусть ваши рассказы...

Тут я остановился и подумал – какой бы привести пример? И не нашел ничего другого, как указать на Императрицу Марию Феодоровну.

– Вот, например, я знаю, как вы любите Императрицу Марию Феодоровну... И я знаю,

что вы любите ее не только за добро, которое она вам сделала, но и потому, что вы выросли на монархических преданиях, потому что находите в них поэзию... Разве я когда-нибудь касался до этих чувств ваших?.. Разве я оскорблял их, скажите? *А мне, может быть, республика гораздо больше нравится!..*

Мать моя поняла, что я прав; замолчала и даже застыдилась. И мне стало так жалко, когда я увидел это *честное* смущение красивой, энергической и мужественной пожилой родительницы моей, что тотчас же стал целовать ее, и мы помирились.

Конечно, я не без основания обличил мать за ее неделикатный и бестактный гнев на тогдашний предмет моего обожания (тем более, что и теперь, через 40 лет, могу сказать: девушка эта была вполне достойна любви и уважения...) Но... *«республика!.. республика!..»* — вот что было нестерпимо глупо!

Я и не подозревал, что я, во-первых, точно так же, как и мать, *именно рос среди монархических преданий*. А во-вторых, что республика мне ни к чему не была нужна; что все это был лишь один юношеский порыв хвалить то, че-

го у нас нет, и особенно что *тогда, при Государе Николае Павловиче, хвалить было далее небезопасно.*

Припоминая теперь внимательно и добросовестно разные мои «психологические моменты», я уверен, что и тогда в республиках мне нравилось не то, чем они отличаются от монархий, т. е. не равноправность и не политическая свобода, а, напротив, те стороны великих республик, которые у них общи с великими монархиями: сила, вырабатываемое словным строем разнообразие характеров, борьба, битвы, слава, живописность и т. д.

В этом эстетическом инстинкте моей юности было гораздо более государственного такта, чем думают обыкновенно; ибо только там много бытовой и всякой поэзии, где много государственной и общественной силы. Государственная сила есть скрытый железный остов, на котором великий художник-история лепит изящные и могучие формы культурной человеческой жизни.

Итак, повторяю еще раз, я, сам того не подозревая, рос в преданиях монархической любви и настоящего русского патриотизма, и

до республики (как я сказал) мне не было никакого дела. И этими-то добрыми началами, которые сказались вовсе не поздно, а при первой же встрече с крайней «демократией нашей» 60-х годов, быть может – я более всего обязан матери моей, которая сеяла с самого детства во мне хорошие семена.

# Примечания

# 1

«Она погаснет только вместе с жизнью» (фр.)

[^^^]

## 2

Родная бабушка нашего теперь посланника в Бухаресте М.А. Хитрово.

[^^^]